

Круглый стол в МГУ 29 мая 2018 г.

ЭТИЧНО ЛИ ИЗДАВАТЬ ДНЕВНИКИ И ПИСЬМА? – ЭТО ЛИЧНОЕ ДЕЛО ВЛАДЕЛЬЦА АРХИВА, ИЗДАТЕЛЯ, КОММЕНТАТОРА, ИЛИ ЭГО- ДОКУМЕНТЫ СЛЕДУЕТ ХОРОНИТЬ ВМЕСТЕ С АВТОРОМ?

Обсуждение в лаборатории Лингвистических информационных систем НИВЦ
МГУ имени М.В.Ломоносова

Ведущий:

Михаил Юрьевич Михеев,

*доктор филологических наук, ведущий научный сотрудник
лаборатории автоматизированных лексикографических систем
НИВЦ МГУ*

Оглавление

- I. Из предварительной программы
- II. Выступления во время круглого стола 29.5.2018
- III. Приложение к круглому столу. Из предварительных материалов к обсуждению (по электронной переписке)
- IV. Из материалов к обсуждению, полученных после круглого стола (по электронной почте)

I. Из предварительной программы

Семинар посвящен обсуждению следующего круга вопросов:

- допустимо ли публиковать такие интимные материалы, как например, донжуанские списки из записных книжек Александра Константиновича Гладкова, в открытой печати?
- надо ли расценивать подобные записи в дневнике (и подобные материалы у других лиц) как особого рода патологию, извращение, или род литературного эксгибиционизма?
- в том случае, если сам владелец архива не успел (или не потрудился) над приведением дневника в удобочитаемый вид, следует ли это за него делать потомкам?
- как различить (да и стоит ли вообще) записные книжки и дневник (или дневник интимный и дневник литературный)?
- можно ли предложить какие-то дифференцированные правила при издании разных типов *эго*-текстовых документов? Или правила для самих изданий разного типа – научных, популярных, снабженных разного вида комментарием в зависимости от давности текста и степени «откровенности» описания темы?

- через какой срок мы имеем право публиковать интимного рода материалы, затрагивающие живущих людей и их потомков? - через 50, 60 или через 100 лет после смерти автора? (на 2018 год со смерти А.К.Гладкова прошло 52 года; все упоминающиеся в его "донжуанских списках" персонажи тоже покойны).

* * *

II. Выступления во время круглого стола 29.5.2018

1. Абрам Ильич Рейтблат (журнал «Новое литературное обозрение»)

Мне бы хотелось приветствовать инициативу Михаила Юрьевича по обсуждению вопросов публикационной этики. Эта тема меня очень интересует, причем не столько с практической, сколько с теоретической стороны. Но многие интересующие меня вопросы и аспекты в разосланных к обсуждению вопросах совершенно не затронуты, поэтому в своем выступлении я выйду за их рамки и попробую взглянуть на проблему шире.

При этом я хотел бы сразу подчеркнуть, что, на мой взгляд, это проблема не научная, а этическая и, кроме того, что в современную эпоху, когда почти нет жестких моральных норм, эта сфера регулируется не столько нормами, сколько ценностями. Например, кто-то хочет опубликовать дневник, в котором будет идти речь о гомосексуальной любви. Один публикатор в нашей стране сочтёт, что такие сведения порочат его автора, другой (возможно, принадлежащий к числу лиц соответствующей сексуальной ориентации) посчитает, что наоборот, поскольку если человек пишет об этом, не скрывая, в своём дневнике, то это его красит. И, наконец, для третьего публикатора, имеющего, допустим, только научные цели, это просто введение в оборот информации о малоизвестной сфере и он нимало не задумывается, что тут могут затрагиваться какие-нибудь моральные аспекты.

Поэтому формулировать некие универсальные публикационные нормы в этой сфере невозможно, и каждый публикатор должен принимать решение сам, исходя из своих нравственных ценностей. Никаких универсальных рецептов тут нет.

Я попытаюсь кратко обозначить теоретическую рамку, позволяющую, как мне представляется, рассматривать интересующую нас проблему.

В первую очередь нужно определить, с точки зрения *кого* мы будем ее обсуждать. Вот вы, Михаил Юрьевич, во вступительном слове обрисовали трудности, с которыми сталкиваетесь при публикации дневника Гладкова, а я не очень понимаю: вы с точки зрения филолога говорили? Или историка отечественной культуры? Или журналиста? Или ещё кого-то? А у историка, литературоведа, журналиста, правоведа, издателя и так далее могут быть разные точки зрения на этот вопрос.

Я социолог и буду говорить с точки зрения социолога. Для меня публикация — это социальное действие. Оно представляет собой обнаружение неких текстов, перевод их из сферы непубличного в сферу публичного. Это важно. Текст может быть даже печатным: его могли напечатать в типографии, но потом тираж задержали, он всё равно остался в печатном виде; и если я его публикую, если я это действие совершаю, значит я его тиражирую и делаю доступным аудитории.

Что такое социальное действие для социолога? Это всегда взаимодействие. Если я публикую текст, значит я взаимодействую с читателем, с издателем, с редактором, с цензором (если он есть), с автором. При этом следует учитывать, что по отношению к живому и мёртвому человеку нормы, определяющие характер публикации, различны. М.О. Чудакова в своей диссертации и в опубликованной на её основе монографии

«Рукопись и книга» (1986) очень хорошо эти аспекты разбирает. Пока автор жив, он распоряжается своим текстом. Когда он умер, текстом распоряжаются другие. Право это переходит к ним. Мы знаем, что многие писатели просили не публиковать их письма. Так, И.А. Гончаров поместил в журнале статью «Нарушение воли» (1889), в которой резко критиковал публикаторов частной переписки известных людей и просил не печатать его письма. Он подчеркивал, что это вопрос не юридический, а нравственный. Тем не менее впоследствии они издавались и затем неоднократно перепечатывались.

Отношения, в которые вступает публикатор, прежде всего регулируются правом, и многие вещи там оговорены: что можно и что нельзя. Я не буду сейчас этот вопрос обсуждать, потому что есть соответствующие законы, с которыми легко ознакомиться. И есть работы юристов, которые трактуют содержащиеся там нормы обращения с текстом. Меня в этом выступлении будет интересовать мораль. Сразу же оговорю, что помимо морали и права характер публикации определяется научно-публикационными (в научных изданиях) и литературно-журналистскими (в популярных изданиях) традициями и принципами. Научные принципы публикации у историков и у филологов сформулированы в нормативных пособиях, где оговорено, что и как следует публиковать. Это не закон, подобные нормы можно нарушать, но и в этом случае желательно их знать. Журналистские и литературные нормы не кодифицированы, но люди, работающие в этой сфере, – редакторы, журналисты, популяризаторы – примерно представляют, как принято публиковать подобные тексты.

Самое интересное тут – литературная этика. Она не кодифицирована. Исследователи ею почти не занимаются. Я вот прочёл в распространённых к семинару материалах письмо С.И. Гиндина, что у него в лекционном курсе была соответствующая лекция. Насколько я знаю, этот курс, к сожалению, не опубликован, но мне, например, было бы очень интересно с ним ознакомиться, потому что специальных исследовательских работ на эту тему почти нет. По вопросу о посмертных публикациях мне вспоминается только соответствующий раздел в вышедшей на английском языке монографии Екатерины Правильной «Публичная империя. Собственность и стремление к общему благу в царской России» (2014). Я уже несколько лет никак не допишу статью о литературном скандале с социологической точки зрения. И в связи с работой над ней я попытался проанализировать, что представляет собою литературная этика.

Времени у меня сейчас немного, поэтому я только тезисно изложу свои наблюдения. В нормальной литературной системе члены этой системы её знают. Скажем, в России в конце XIX – начале XX века образованные люди, особенно публикующиеся, знали нормы литературной этики: что допустимо, что недопустимо. Если происходило нарушение соответствующих норм, другие члены литературного сообщества на это реагировали, фиксируя и осуждая произошедшее и в печати, и в литературных организациях, и это становилось социальным фактом. В советское время, как мы знаем, мораль вообще была подорвана и, соответственно, литературная мораль тоже. И в постсоветское время члены литературного сообщества не очень озабочены этой сферой. Могут происходить нарушения литературной этики, но либо на них нет никакой реакции, либо о них пишут как о некоторой сенсационной новости, не давая оценку.

Перечислю основные сферы, которые регулирует литературная этика. Это, во-первых, отношение авторов к обществу. Нельзя в тексте нарушать общие базовые нормы осмысленности. Если человек, например, возьмёт слова, вырезанные из печатных текстов, бросит их на бумагу в случайном порядке, потом зафиксирует и будет издавать на этой основе книги, это будет встречено непониманием и осуждением подавляющего большинства членов литературного сообщества и читателей.

Реплика из аудитории: Они и дорого стоят, продаются [далее неразборчиво].

Сейчас не буду подробно обсуждать подобные случаи, я, скажем, не уверен, что подобные публикации бессмысленны, но в то же время уверен, что их почти не покупают.

Далее, считается, что нельзя оскорблять так называемые «религиозные чувства». Я опять же сейчас не вдаюсь в то, *что* является оскорблением, что нет. В разных ситуациях эта норма действует по-разному, но в принципе такая норма есть. Это же касается «чувства патриотизма». Кроме того, нельзя выходить за рамки дозволенного в ту эпоху, когда литературная этика действует, в описании секса, физиологических отправлениях, насилия. Недопустимо выводить в произведениях в негативном свете реальных лиц. Нельзя нарушать определённые нормы политкорректности. Я сейчас не буду это детализировать.

Во-вторых, это вопросы, связанные с авторством. Среди них – принадлежность автору его текстов и его литературного имени. Например, Н.С. Лескову не понравилось, когда этнограф и прозаик Николай Феофилактович Лесков стал подписывать свои публикации Н. Лесков, и это получило отражение в прессе.

Взаимоотношения между авторами тоже регулируются литературной этикой. Нельзя оскорблять других авторов, осуществлять по отношению к ним нетактичные действия, вторгаться в их личную жизнь, неверно цитировать или приписывать другому автору мысли и выводы, которых у него нет. Нельзя публиковать негативные некрологи, заниматься саморекламой и так далее.

В-третьих, это взаимоотношения авторов с издателями. Авторы должны предоставлять им обещанные тексты, кончать произведения, которые начаты публикацией с завершением в последующих номерах. А издатели должны печатать в срок, точно расплачиваться с авторами и так далее.

В-четвертых, это отношение авторов к читательской публике. Следует уважительно обращаться к читателям, не оскорблять их при встречах и в прессе, в том числе и представителей читательской публики: интервьюеров, критиков и так далее.

Все, что я перечислил, это общелитературные нормы, но есть ещё групповые. Например, во второй половине XIX – начале XX века считалось, что нельзя печататься в журналах и газетах противоположного направления. Если ты либеральный журналист, то ты не можешь печататься в консервативном издании и наоборот. Когда выяснилось, что Розанов печатается и там и там, это вызвало литературный скандал.

Если кто-то мне подскажет, что я пропустил, я с удовольствием дополню свой довольно краткий список.

Теперь о том, с чем мы сталкиваемся, когда имеем дело с письмами и дневниками. Я ещё раз повторю, что, с моей точки зрения, никто совета не даст, что из них можно печатать, а что нет. Каждый человек, выступающий в роли публикатора, должен решать эту проблему сам, исходя из своих ценностей и моральных представлений. Можно посоветоваться с друзьями или с коллегами, но всё равно принимать решение следует самому. В данном, например, конкретном случае с дневником Гладкова как бы поступил я?

Я готовлю только научные публикации, другие типы публикаций меня не интересуют. Если я делаю такую публикацию, я ввожу в научный оборот новую информацию. Вы, Михаил Юрьевич, спрашиваете, следует ли опускать места, где речь идет о сексуальных контактах Гладкова. Я бы исходил из того, что сфера секса как социокультурного явления изучена плохо. В отечественной науке она практически не изучена. О том, какую роль играет секс в социальной жизни, каковы были сексуальные практики в ту или иную эпоху, информации мало. Я знаю источник, где она есть, но им практически не пользуются историки. Так, в фонде Третьего отделения есть масса дел, связанных с нарушениями тех или иных сексуальных норм. Многие историки знакомы с этим архивным фондом, но я не встречал ни одной публикации, основанной на материалах дел, о которых говорю я, хотя в них много сведений о сексуальном поведении учащихся, военных, монахов и т.д., а иногда встречаются совершенно замечательные жизненные истории. Есть кое-какие фрагментарные, случайные публикации архивных материалов на эту тему по другим фондам, но этого

слишком мало, чтобы делать какие-то общие выводы. Поэтому введение в научный оборот источника, содержащего богатую информацию об этом, с моей точки зрения, было бы очень полезно исследователям.

Я бы, соответственно, печатал дневник Гладкова по возможности целиком. Но при этом, разумеется, не стал бы печатать сведения такого рода о живых людях или опускал их имена. С проблемой такого рода я столкнулся, когда публиковал один дневник. Там шла речь о людях, которых я знаю лично и которые живы; у каждого была семья и речь шла об их близких отношениях. Это я, разумеется, исключил из публикации. Но там же шла речь об одном журналисте, который, как ходят слухи, сотрудничал с КГБ. Я не мог осуществить проверку этого факта, фонды КГБ у нас закрыты. Эти сведения я оставил. Я не утверждал в комментариях, что это правда. Но, тем не менее, это факт, что о нём ходили такие слухи, я встречал соответствующие высказывания. Если потомки этого журналиста имеют юридические основания предъявить мне иск как к публикатору, я к такому судебному разбирательству готов. Правда, сомневаюсь, что современный российский суд сочтет сотрудничество с КГБ действием, порочащим человека. Так или иначе, никакой реакции на эту публикацию со стороны потомков этого журналиста не было.

Если же люди умерли... Честно говоря, я не вижу, чем особо порочат сведения о сексуальных связях. Это же не преступление, не убийство, не контакты с репрессивными органами, которые, с моей точки зрения, гораздо больше пятнают человека. Если потомкам будет неприятно, то что же делать... Об этом нужно было думать Гладкову, когда он шёл на такие действия и когда запечатлевал их в дневнике. Но скорее всего они об этом и не узнают, если это будет научная публикация, или не узнает никто из их знакомых, поскольку они вряд ли проявят интерес к подобному малотиражному изданию.

Что же касается пункта в вопросах к семинару о различии дневника интимного и дневника литературного, то я не знаю никаких объективных критериев их различия. Можно подумать, что ещё сто лет назад Тынянов не написал статью «Литературный факт». Как будто литературность – это такая вода, которую наливают в бутылки. Если я воспринимаю этот текст как литературный, – он литературный. Если не воспринимаю, – то он не литературный. Мне доводилось в журнале «Новое литературное обозрение» печатать статью польского исследователя, который рассматривал «Манифест Коммунистической партии» как литературное произведение и выявлял всё то, что мы привыкли видеть в художественной литературе – сюжет, метафоры и т.д. Поэтому, публикуя текст, задаваясь моральными вопросами, я бы не считал, что если он литературный, значит можно печатать, если нелитературный, то его печатать нельзя.

* * *

2. Выступление Николая Всеволодовича Котрелёва («Литературное Наследство» ИМЛИ РАН) и обсуждение

Замечательно четкое по мысли выступление Абрама Ильича могло бы и должно было бы стать основой проблемной разработки коллективного труда: большого – в сто листов, может быть в двести – по исследованию исторических представлений (они очень изменчивы) о публичности и непубличности. Для понимания многих ситуаций и оценки личных и коллективных жестов в истории и сегодня подробное и по возможности ясное (строгое – не скажешь) описание границ предписанного/возможного/запретного совершенно необходимо. У нас же, за отсутствием желания осознать нормы дозволенного и границы желаемого все разговоры и заботы сводятся к проблемам получения информации, обычно к восклицаниям «а мне не дали», «а я хочу», «а мне дали», «а я добился» и так далее. Задачи осмысления целей и качества публикационной деятельности остаются в области «само собой понятного». Смысла тут мало. Тема сегодняшнего собеседования всем обиходом новоевропейской культуры выведена за рамки

общественного интереса, тем большее одобрение вызывает тематический почин хозяев нашего стола.

В дилемме «можно публиковать/нельзя публиковать» важно прежде всего договориться о том, что такое публикация. В бытовом употреблении это слово неоднозначно, что порождает, на мой взгляд, важные недоразумения, в том числе и на уровне оценок работы филологов разных профилей и журналистов, т.е., главных «публикаторов». Весьма важно разобраться в смыслах понятия «публикация» хотя бы потому, что в нашем околке представление о публикации отягчено предрассудками, если не мифологическим ореолом.

Словарь Д.Н. Ушакова так толкует слово:

ПУБЛИКАЦИЯ, публикации, жен. (от лат. publico - объявляю всенародно) (книжн.).

1. только ед. Действие по гл. публиковать, опубликование, объявление. Публикация исторических документов.

2. То, что опубликовано, объявление. По публикации. Дать, поместить публикацию в газете. Публикация о смерти.

Эти толкования не учитывают важнейший аспект любой публикации - технические средства и способы ее осуществления. По умолчанию в эпоху Д. Н. Ушакова, ученого замечательного, считалось, что до всенародного сведения нечто доводится через типографский станок, во всяком случае – если расширить основу толкования за счет фактов, несомненно, этому лексикографу известных) – посредством графической фиксации текста, выставляемой ко всеобщему сведению – в местах стечения народа. Функция глашатая, голосом на торжищах извещавшего о новых законах и распоряжениях, представлялась архаичной и, по существу, упраздненной в эпоху Гуттенберга.

Изменение в медийной сфере отразилось и в определении смысла слова

ПУБЛИКАЦИЯ (от лат. publico - объявляю всенародно) - 1) доведение чего-либо до всеобщего сведения посредством *печати, радиовещания или телевидения*. 2) Изданное произведение. (Большой Энциклопедический словарь, курсив мой). К указанным посредникам, обеспечивающим коммуникацию автора/издателя информации и ее получателя (между прочим, забыто кино, документальное и - художественное), несомненно, необходимо добавить *интернет* (что сильно усложняет представления о публичности и опубликованности, но я сейчас не об этом). Отметим две характеристики существования информации в новых «медиа». Первое: очень часто на экране, мониторе – разумеется, у радио нет такой возможности - визуализуется все тот же рукописный или печатный текст, как на скрижалях Моисея. Эти тексты могут быть максимально авторитетны если они выставляются, обнародованы на правительственных и т.п. сайтах, именно с целью довести новеллу до всеобщего сведения. Для учета и поиска этой информации разработаны и узаконены специальные стандарты, при том что до сих пор не решены проблемы сохранения этой информации для повторных и будущих к ней обращений. Второе: текстом несметного множества публикаций является не вербальное произведение, а фильм, в широком смысле слова, аудиовизуальное произведение. Государственный архив кино-фотодокументов хранит именно такого рода артефакты, в свое время опубликованные, как библиотеки хранят документы, опубликованные в виде печатной продукции. Наконец, третье: далеко не все радио- и теле-передачи бывали записаны на материальном носителе, но это не значит, что они не были опубликованы, точно так же театральная постановка является публикацией работы режиссера, актеров и других участников театрального действия.

Итак, печатный станок и ротационная машина – всего лишь множительная техника. И принципиально указание Абрама Ильича на многочисленные тексты набранные, отпечатанные, но в свет не вышедшие и сохранившиеся только в корректурных оттисках и т.п. полуфабрикатах. Существует много книг, напечатанных в типографии, достаточно объемных, но по своему замыслу не предназначавшихся к выходу в свет, они должны

были служить рабочим документом, обслуживающим замкнутую группу сотрудников. Статус «публикации» получает только произведение *изданное*, старинное «выдана в свет» выясняет смысл общеупотребительного слова «издание». Статус «публикации» конвенционален – он обусловлен разрешением какой-то инстанции на «выход в свет» - это может быть цензор или некая институция, имеющая лицензию, разрешение на ведение издательской деятельности (как сейчас в России), и т.п. Следует задуматься о различении понятий «издано» и «передано гласности» - подпольная листовка является ли изданием секретного распоряжения властного органа, если она воспроизводит текст этого документа, уворованный ее «информатором»? а если речь идет о воспроизведении этого текста в эмигрантском журнале или даже в пропагандисткой книге противной стороны во время войны? Кажется, эти вопросы – не вполне казуистика.

Критерием «публикации», «опубликованности» уважаемые собеседники выставляют «общедоступность» текста, под которой они понимают легкость выхода, при нужде, для какого-то «любого» человека на этот текст, зафиксированный на каком-то материальном носителе. Увы, химеричны апелляции как к легкости доступа, так и к мифическому «любому имяреку». Каждый из вас, дорогие коллеги, знает, как непросто, порою, найти нужное вам издание в интернете и классической библиотеке, при том что вы точно знаете, что искомое издание – не фантом. Вы же учите своих студентов, магистрантов, часто – аспирантов – как находить заведомо известные материалы. С другой стороны, произведение, напечатанное героем ваших разысканий в газете, единственный экземпляр которой находится в библиотеке на недоступном для вас краю света, - *опубликовано*, и вы учитываете эту публикацию в своих работах, как, впрочем, учитываете публикации с пометой «не сохранилась» или «к сожалению, нам недоступна». Поставьте перед «каждым гражданином» эти трудности – и вы признаете, что опция «чтобы было доступно беспрепятственно всем и каждому» - к определению, что такое «публикация» и «опубликовано» не имеет отношения.

В этой связи я хочу уточнить, не без упрека в неосмотрительности, одну сторону изложения Абрамом Ильичом проблемы публикации. Любой документ, в том числе содержащий сведения про какое-то распутное/не распутное поведение, стукачество/не стукачество, срамные и просто болезни, если он без специальных ограничений доступен в архиве, доступ в который, в свою очередь, не ограничивается какими-то специальными постановлениями, - *опубликован!* То есть, по личному заявлению или по отношению с работы или от заказчика – мы говорим в данном случае о российских архивах – вы приходите, и читаете, и копируете интересующий вас документ, получаете бесконтрольный доступ к содержащейся в нем информации. Проблемы трудности поиска нужной тебе информации и состояния ее доступности лежат в разных плоскостях жизни. Давным-давно, в 60-х еще годах, когда мы только начинали, замечательный поисковик Г. Г. Суперфин то ли в шутку, то ли с негодованием говорил – что́ они со своей славой носят, «я открыл!», «я обнаружил!», «я нашел», если чтоб найти, нужно только пойти почитать опись в архиве.

Так вот, когда общедоступный в архиве документ переводится в то, что мы вульгарно называем на общем нашем языке «публикацией», то есть в печатную, любую медийную форму, - речь уже не идет о публикации, обнародовании. Речь идет о распространении информации, тиражировании ее, смещении уровня доступности, о девульгации, если угодно – о пропаганде. Это делает какие-то сведения о Гладкове, или Пушкине с Керн, или о ком угодно, – делает всего лишь легче, без труда доступными для публикации типа: «Донжуанский список ...», «Великая поэтесса, или Лизиска», «Волочкова снялась в откровенной сессии». Ну и Пушкин снялся в откровенной сессии. Анекдот детский есть, как он открывает дверь, а там барыня стоит и на него удивляется – собирателям фольклора могу рассказать приватно, если им этот случай из жизни великого поэта неизвестен.

Реплика из зала [Н.В.Перцова]: Но это же разные вещи!

Н. В. Котрелев: Почему же?!

Реплика [А. И. Рейтблата]: Волочкова этого хочет, а Пушкин этого не хотел.

Н. В. Котрелев: Волочкова, как образцовый артист нашего времени, в охотку уступает требованиям продюсеров и пожеланиям публики. Пушкина никто и спрашивать не станет, хочет он чего или нет. Реальный Пушкин к бесчисленным срамным историям о нем отношение имел только по случаю его знаменитости, величия, сакрализованности его образа в культуре. Анекдоты и стишки «про Пушкина» сочиняли гимназисты, кадеты, студенты, интеллигентная молодежь. И вот тут, Коль, нам открывается главный аспект нашей сегодняшней темы.

Реплика: Вы говорите о разных вещах: Волочкова на это ориентирована...

Дальше именно начинается разговор о рецепции публикации, безразлично, академической либо медийной, в обществе и, тем самым, о целях публикации и соответствующем цели ее характере, об ориентации, типе публикации. Нас, естественно, тут интересуют публикации «эго-материалов» (неуклюжий, однако, термин). Необходимо твердо помнить, что в европейской культуре нет никаких средств защитить эго-информацию от вторичного и третичного использования шустрými ребятами, увлеченными демистификаторами, мастерами гротеска и гиньоля, талантливыми режиссерами и сценаристами. Публикуя эго-материалы, гуманитарий может руководствоваться самыми законными и благородными учеными целями, подчиняясь веками сформулированным императивам профессиональной деятельности: требование полноты данного текста и корпуса текстов данного автора (хотя бы, скажем, в видах составления словаря писателя), необходимость называть вещи своими именами или прояснять намеки в комментариях (и тогда привлекаются эго-сведения из параллельных источников), восстанавливать цензурные опущения ради изучения критериев цензуры в определенную эпоху, восстановления полноты биографии и мотивации тех или иных поступков героев и т. д. Ваша архиакадемическая публикация может остаться навсегда не востребованной массовой культурой. Но как только кому-то понадобятся скабрёзные или скатологические тексты, сведения о дурных болезнях и инвалидности и т.п., эго-текст вашего героя станет добычей, тем более легкой, чем выше тираж вашей публикации, чем лучше она проаннотирована в справочных пособиях и т.п. - чем она доступней. Вы, наверное, замечали, что большинство публикующих гадкие, но популярные статьи и книги – выпускники гуманитарных факультетов, более или менее владеющие поисковой техникой. Могли бы и в архивах покопаться, но проще обойтись тиражированными, облегченного доступа источниками. «Спасенья нет, пустое сердце бьется ровно...»

Поэтому, я уверен, подчиняться при замысле и осуществлении публикации чужого текста должно только предписаниям методик профессионального канона (часто нельзя так же обойти требований издателя – в журнале или издательстве могут обусловить выбор языка и графики в цитатах, старой или новой орфографии и т.п. – если эти требования не идут в разрез целям вашей публикации, публикуйте. В противном случае «наплюйте им в глаза», как говорится у Гоголя, ищите другого издателя, коли не найдете – смиритесь и положите публикацию в долгий ящик в ожидании более счастливого случая).

Есть еще одно ограничение – отечественными и международными законами установлены формальные сроки давности, определяющие момент открытия личных документов для доступа посторонним. Соблюдать закон необходимо, тем более что он вполне разумен. Конечно, внимательно оценив общее положение дел, можно рискнуть и закон нарушить. Я напечатал личные документы Б. Л. Пастернака – до истечения установленного законом срока. Пока обходится, но, если начнутся неприятности, прошу меня не защищать, я сознательно нарушил закон.

Да, возвращаясь к уже сказанному: публикация может быть устной. Вот вы сказали, что курс Гиндина не опубликован. Он опубликован. Он прочтён! Студенты его записывали. То есть это устная публикация. Публикация не обязательно на бумажке, не

обязательно в журнале «Дуралей» или «Новом литературном обозрении». Или «Караван историй» или как он там называется.

[Реплика Рейтблата]: *Публикация – сделать доступным всем. Печатный текст доступен всем.*

Нет! Вы только что ссылались на то, что никто не будет интересоваться малотиражными изданиями.

– *Потенциально...*

Потенциально текст доступен в архиве!... Если он не закрыт.

Последнее, что я хочу сказать, это различие архива государственного, где всё регламентировано, и чем точнее регламентация – желательнее, чтобы она столь же точно исполнялась – тем лучше – и, наконец, частного архива. В частном архиве то, как владелец скажет, так и будет. Личные документы, не личные документы, какие угодно. Но: до той поры, пока существуют частные коллекции и частные архивы, приходится понимать, что есть два юридических плана, две юридические области. Ну вот, собственно говоря... Цензуры не хватает... Сталинской. Цензура может быть очень даже неформальная, как она существует сейчас во всём мире. Простая совершенно вещь, цензура не формализованная, но которая не даёт это печатать, а это, наоборот, потенцирует и забрасывает этим всё медиaprостранство.

Всё.

Реплика: Важно потенциально...

Реплика: В Интернете можно выйти на очень многие книги, которые далеко от нас.

Зарецкая: Я прошу прощения <...> [вначале неразборчиво]... Я вот вспомнила про Фердинанда де Соссюра, который ни строки не написал в своей жизни; а под диктовку его лекций была в конечном итоге сделана некоторая условным образом запись, потом напечатано и опубликовано блестящее лингвистическое сочинение.

Котрелев: Три года спустя после его кончины.

Зарецкая: Да, три года спустя после его кончины.

Котрелев: Вот прекрасный пример!

Рейтблат: [Пример] чего?

Котрелев: Пример того, что лекция была опубликована...

Рейтблат: Так вот она была опубликована через три года после его смерти.

Котрелев: В это время его мыслями пользовались все слушатели, в том числе и Мейе, который его издавал.

Рейтблат: И какое это имеет значение? Его мыслями воспользовались, но они не опубликованы. Они озвучены в узкой аудитории.

Котрелев. Абрам Ильич! Да как же можно пользоваться чужими неопубликованными мыслями?! Чтение мыслей, какая-то сверхъестественная практика! Позвольте пример совсем определенный. Лекция Владимира Соловьева, в которой прозвучал призыв, ради укрепления связи Государя с народом, помиловать цареубийц. По-вашему, неопубликованная лекция – а по ее факту и содержанию властью принималось решение, а текст ее в записях тиражировался в революционном подполье, наконец, на нее, неопубликованную, по-вашему, – именно с учетом содержания, ссылаются все биографические справки, статьи, книги о Владимире Соловьеве. И еще – а что сказать о театральной цензуре?

Зарецкая: Вот я читаю лекции всю свою жизнь. Там до шестидесяти микрофонов стоит, которые это записывают. [неразборчиво] – а это лекции, причём лекции устные. Вот это как: публикации или нет?

Котрелев: Публикация.

Рейтблат: Нет, это не публикация. Это публикация в метафорическом смысле.

Котрелев: В строгом смысле! А вот публикация как тиражирование – это уже метафора.

Зарецкая: Они это тиражируют, это же студенты. Они это тиражируют в огромных количествах.

* * *

3. Выступление Дмитрия Исаевича Зубарева

Я хотел бы в своём выступлении несколько расширить тему нашего семинара, сформулировав её так: «Можно ли (и нужно ли) публиковать компромат, содержащийся в личных документах (дневниках и письмах), попавших в государственные архивы?»

Компромат (порочащие сведения) может быть политический, уголовный и биологический (касающийся болезней и сексуальной жизни личности). Начну с политического.

Российское общество в XX веке (и до, и после 1917 года) остро интересовалось вопросом о тайных осведомителях полицейских учреждений (Третьего Отделения, Департамента Полиции, Охранных отделений, ВЧК, ОГПУ, НКВД, МГБ, КГБ). Особенно обострялся этот интерес в период революций 1917 и 1991 годов. Но подошли революционные власти к решению этого вопроса по-разному. После Февраля 1917 немедленно была начата публикация имён осведомителей полицейских ведомств и их уголовное преследование (рудиментом этого решения стала статья 58-13 в Уголовном Кодексе РСФСР). А вскоре после Августовской революции 1991-го (и начавшейся на её волне публикации имён осведомителей советских карательных органов) Верховный Совет РСФСР принял закон «Об оперативно-розыскной деятельности». Согласно этому закону (с небольшими изменениями действующему поныне) имена граждан, добровольно помогающих (и помогавших с 1918 года) органам милиции и госбезопасности в этой деятельности, НАВЕЧНО объявлены государственной тайной. Необходимость срочного издания такого закона никак не объяснялась обществу, однако можно предположить, что на прекращении публикации имён сексотов настояла Русская Православная Церковь, поскольку среди таковых обнаружился её новоизбранный глава Алексей II. И сами органы госбезопасности эту норму закона строго соблюдают. Даже когда идёт речь о секретных сотрудниках, имена которых были названы в документальных публикациях, появившихся в печати в 1990-91 гг., ДО принятия Закона (например, Ираклия Андроникова и Георгия Шенгели). Их имена в публикациях ФСБ заменяются оперативными псевдонимами (так, Шенгели фигурирует в них под псевдонимом «Шорох»). А появляющиеся в печати рассуждения частных лиц о «стукачах» и «провокаторах» государство не комментирует и комментировать не имеет права. В Российской Федерации, в отличие от многих других государств бывшего СССР, сотрудничество с советскими спецслужбами человека не порочит (хотя общество считает иначе). В этой связи я хочу, с разрешения нашего ведущего, рассказать историю одной купюры, которую он сделал при публикации дневников Гладкова, и попрошу дать оценку поведению лиц, вынудивших его к этой купюре. Печатая дневник Гладкова за 1961 год (пик антисталинизма в СССР, год, когда тело Сталина вынесли из Мавзолея, а любимой темой для разговоров в интеллигентских компаниях было разоблачение действительных или мнимых «клеветников и доносчиков периода культа личности»), в ресторане ЦДЛ известный литературовед (бывший зэк) Николай Смирнов сказал Гладкову, что покойный

к этому времени классик советской литературы был осведомителем ГПУ-НКВД и назвал ту среду (далёкую от литературы), о которой писатель информировал силовые структуры. Эту запись 1961 года Михеев в 2014 году попросил откомментировать сотрудников музея этого писателя. Вместо комментария дирекция музея заявила Михееву, что комментарий не будет, а если он посмеет эту запись опубликовать, то неприятности у него будут продолжаться всю жизнь. Михаил, вопреки моему совету, сделал купюру, поэтому я не называю сейчас имя этого писателя. Мне хотелось бы узнать мнение присутствующих по поводу поведения дирекции этого музея, которое я считаю возмутительным. Это попытка возрождения «семейной цензуры», которая иногда была страшней Главлита. Люди моего поколения помнят историю 1965 года, когда некая влиятельная вдова остановила публикацию разрешённого Главлитом романа Александра Бека «Новое назначение», прототипом главного героя в котором был её покойный муж. Прежде чем говорить об ЭТИЧНОСТИ публикаций архивного компромата, я хотел бы обсудить вопрос БЕЗОПАСНОСТИ публикатора (всем памятна пощёчина, которую лет двадцать назад получил в здании ЦДЛ один видный булгаковед от престарелого писателя Льва Разгона, вступившегося за честь своей покойной – скончавшейся 60 лет назад – жены, память которой публикатор оскорбил в процитированном им документе из следственных дел 1930-х годов...). В этой связи я хочу - в качестве примера публикаторской отваги - привести книгу, выпущенную в 2012 году в издательстве НЛО под редакцией присутствующего здесь Абрама Ильича Рейтблата: А.В.Храбровицкий. Очерк моей жизни. Дневник. Встречи. Вступ. статья, сост., подгот. текста и коммент. А.П.Шикмана. Её автор – известный московский журналист, краевед, литературовед и библиограф Александр Вениаминович Храбровицкий (ровесник Gladkova – 1912-1989). Он всю жизнь вёл дневники, но в отличие от Gladkova, создал на их основе некий резюмирующий текст – «Очерк моей жизни», а сами дневники за первые 50 лет жизни уничтожил. Человек он был с большими заслугами перед русской культурой, знал почти всех писателей и литературоведов, состоял со многими в многолетней переписке. Характер у А.В. был тяжёлый. На трёх страницах «Очерка» (с.85-87) он приводит составленный в сентябре 1981 г. список «Плохие люди в моей жизни», в который включил 169 человек, а затем в течение нескольких месяцев его дополняет. Понятие «плохие (дурные, наиболее подлые) люди» он разъясняет так: «доносчики, лгуны, интриганы, бессердечные и злобные, равнодушные к общему делу, своекорыстные, неблагодарные» (с.86). А дальше – следует потрясающий перечень, куда вошли, наряду с малоизвестными столичными и провинциальными литераторами, центральные фигуры русской литературы и гуманитарной науки XX века: писатели Самуил Маршак, Корней и Елена Чуковские, Илья Эренбург, учёные Сарра Житомирская, Илья Зильберштейн, Юлиан Оксман (попал в число "плохих людей" и Александр Gladkov - с. 87). Кто из перечисленных - доносчик, кто - лгун, а кто просто бессердечный и равнодушный - список не уточняет. Правда, в разделе "Встречи" собраны мемуарные очерки о многих персонажах списка, где проясняются претензии к ним автора (Маршак, Чуковский, Эренбург, Зильберштейн, Оксман), однако большинство "плохих людей" - например, Gladkov - очерка не удостоено. Легко было предвидеть ту бурю возмущения, которая разразится среди обиженных Храбровицким и их потомков, бурю, которая могла перешагнуть из литературной сферы в юридическую. Я считаю, что составитель книги (снабдивший её обширным комментарием, основанным на проработке огромного фонда Храбровицкого в НИОР РГБ) и её редактор совершили смелый поступок, опубликовав книгу Храбровицкого БЕЗ КУПЮР. К счастью, судебных исков не последовало - всё обернулось написанной в защиту семьи Чуковских обширной рецензией в "Вопросах литературы", где автор - доктор филологических наук - выносил Храбровицкому посмертный психиатрический диагноз.

Я хотел бы сказать и о антикультурной роли закона "О персональных данных", принятого Госдумой в 2006 году. Согласно этому закону, любое упоминание о заболеваниях

человека (каков бы ни был диагноз - корь, геморрой, сифилис) и о его личной жизни объявлено его личной тайной, и документы об этих сторонах его биографии не подлежат выдаче в госархивах. Когда я публиковал в 1995 году книгу о Жириновском (первую документальную публикацию о нём – я был в 1983-90 гг. его коллегой по издательству «Мир», - то архивисты закрыли конвертом и скрепками страницы протоколов партсобраний, где упоминался факт его развода. Каюсь: я эту скрепочку раскрыл и этот факт его биографии обнаружил. Но всё это касается только документов государственного происхождения - следственных дел, личных дел, протоколов собраний и заседаний. До истечения 75 лет с момента создания документа содержащиеся там сведения объявляются личной тайной. Что же касается документов личного происхождения, которые сдаются в архив писателями, учёными, их потомками - то здесь действует только их воля, и никаких других ограничений. Если дочь Гладкова разрешила опубликовать его дневники через двадцать лет после его смерти, с 1996 года...

[Реплика М.Ю.Михеева:] Лично мне она разрешила в десятых годах, незадолго до своей смерти...

... то начиная с тысяча девятьсот девяносто шестого года любой волен публиковать из дневника Гладкова всё, что он хочет. Это воля фондообразователя. Так он охраняет свою личную тайну. На двадцать лет фонд был закрыт, а потом стал свободен для публикации (в 2001 году большую выборку из этих дневников сделал покойный Сергей Шумихин). Так примерно поступила и Ариадна Эфрон со своим архивом и с архивом матери. Она закрыла его до 2000 года. Там достаточно много подробностей, которые могут заинтересовать любителя эротики... И тем не менее с двухтысячного года архив Цветаевой открыт, и, насколько я понимаю, никаких возражений относительно того, что можно и чего нельзя публиковать из этого архива, не возникало.

Ситуация с дневниками Гладкова не уникальна. И по их объёму, и по сочетанию в них общественно значимой и интимной информации их можно сопоставить с дневниками Льва Толстого. Гладков вёл свои дневники сорок шесть лет; Лев Толстой - шестьдесят пять лет. Они занимают в юбилейном (90-томном) собрании сочинений тридцать томов. Именно на сочетание в них творчества и секса обратил внимание через сто лет высококвалифицированный читатель. Позволю себе цитату.

«Я целый день читал дневник Льва Толстого 1854-57 – поразила меня ёмкость его времени – в один день он успевает столько увидеть людей и вещей, сколько иной не увидит и в месяц, и какое труженичество! <...> И сколько физических сил! Нет недели, чтобы он не сходил с женщиной, а если не удастся сойтись – поллюции (стыдливо обозначенные буквой «п»). Такая ненасытность мужских желаний уже сама по себе свидетельствовала об огромности жизненной мощи». (К.Чуковский. Дневник 1930-1969. М., 1994. С.224. Запись от 24 марта 1955 года).

Такие моменты в дневниках Толстого, как оказалось, нужны через сто лет, и интересны.

Единственное принципиальное отличие дневников Александра Гладкова от дневников Льва Толстого – в том, что Толстой - общепризнанный гений, а Гладков - нет. Поэтому перспективы полного 30-томного издания дневников Гладкова объёмом 600 авторских листов маловероятны.

В завершение – ещё одна цитата. На тему нашего семинара в конце 1980-х годов высказался Андрей Дмитриевич Сахаров. Узнав, что после смерти директора Института математики им. Стеклова АН СССР академика Ивана Виноградова его коллеги, чтобы не компрометировать его память, сожгли его личный архив (в основном он состоял из его переписки с коллегами-математиками, разделявшими его патологический антисемитизм и озабоченными борьбой с еврейским проникновением в советскую математику), он сказал своему другу физику Михаилу Левину:

« – Собачья чушь! – <...> – Неужели эта кучка сикофантов составляла цвет нашей математики? Не Сергей же Новиков и Людвиг Фаддеев сочиняли такие доносы. Все куда проще. Небось у самих докторов или у их дружков-приятелей было рыльце в пушку! А ведь они сожгли, может быть, и письма великих: Харди и Литлвуда, Шнирельмана и Гельфонда. Но и блевотину эпохи нельзя жечь – она нужна истории... А те, кто придумал такое оправдание, они не ссылались на Пушкина? Мол, Пушкин, радовался, что Мур сжег дневники Байрона. Тут Пушкин абсолютно не прав! Написал он это, я думаю, сгоряча, обидевшись на Левушку, читавшего в столичных салонах сугубо личные письма брата. И потом, за всю оставшуюся ему жизнь он ни разу не повторил эту мысль. Напротив, он больше всего ценил чужие дневники и воспоминания и кого только не тянул, чуть ли не силком, писать их. Слава Богу, Жуковский не сжег тетрадь, где написано, что дежурный офицер, увидевший голую жопу императрицы в ее последний час, имеет все основания писать мемуары... Забавно, в письме о Байроне Пушкин пишет, что не следует показывать великих людей на судне, а годы спустя сам каламбурит про Екатерину Великую:

... флоты жгла,
И умерла, садясь на судно»

(цит. по наиболее авторитетному изданию воспоминаний М.Л. Левина о Сахарове «Прогулки с Пушкиным» – Михаил Львович Левин. Жизнь, воспоминания, творчество. Нижний Новгород, 1995, с. 404). Словами Сахарова «но и блевотину эпохи нельзя жечь» я и хочу закончить своё выступление.

* * *

4. Выступление Николая Викторовича Перцова (и обсуждение)

Михеев [Перцову]: Или вы уже всё высказали в репликах?

Перцов: Я повторю: вкус и хороший тон. Когда мне говорят, что это не формализуемо, я соглашаюсь: конечно, это не формализуемо. Но всё-таки существует некоторая традиция культурная, для которой выявляется что хорошо/что плохо. Сейчас всё это нарушено, сейчас переворот вообще. То что раньше было под полным запретом становится абсолютно открытым. Понимаете, в чём дело? И здесь настоящей формализации быть и не может. Не может. Это первое.

Второе – это всё-таки корректное употребление слов. Декарт сказал: «Определяйте значения слов и вы избавите мир от половины своих несчастий». Я сегодня видел совершенно некорректное употребление слова «публикация». Всё-таки я учился на отделении, где преподавалась математика, где требовалась точность. У нас Юрий Александрович Шиханович не понимал очевидных вещей, иногда меня это очень раздражало, потом я понял, что он в этом смысле очень прав. Нужно корректно употреблять слова. Слово «публикация», конечно, имеет значение делания информации максимально открытой. Тут у меня возник вопрос [неразборчиво] меня спросила: «А вот распространение в Ютьюбе это публикация или нет?». Здесь есть шкала. Разговор частный – это не публикация, когда я говорю конкретному человеку. И наконец, распространение с помощью книг, интернета и так далее... [неразборчиво]. Здесь нет чёткого вопроса: «Публикация или не публикация», есть шкала: полное отсутствие информации, сохранение её у себя или в очень тесном кругу и полная открытость. Также, имея в виду нынешние средства распространения информации, конечно, есть и промежуточные случаи. Но говорить о том, что если я читаю лекцию – это и есть публикация – как-то странно. То же самое, кстати, относится к слову «цензура», которое имеет значение относительно чёткое: это институциональное образование, через которое проходит вся информация. И для того чтобы она была распространена, нужно получить

штамп. Что было раньше. В этом случае цензуры сейчас нету. Сейчас говорят: «Вот, когда я говорю, что это не надо публиковать это цензура». Это метафорическое употребление слова «цензура» в другом значении. В близком значении: это полисемия слова «цензура» и на это надо обращать внимание. Вот что я хотел бы добавить к тому, что я уже сказал.

Котрелев: Можно ответить [на] ту часть, которая ко мне относится.

Михеев: Да, пожалуйста.

Котрелев: Как раз вопрос к слову «публикация» должен идти о полисемии. Тем более в самых первых словах, с которых я начал, я описал тот смысл слова «публикация», который я ему придаю. И в этом смысле декартовский закон был выполнен. Дальше могут быть споры: следует ли общепринятому значению слова придавать значение термина или имеет смысл его оговорить. Спорить не буду... Точно так же и цензура. Цензура, прежде всего, – это система запретов, существующая в обществе...

Перцов: Институционализированная!

Котрелев: Существует цензура в обществах, в которых институты (по крайней мере в сегодняшнем смысле слова) не оформлены. А цензура как институт – достаточно позднее изобретение. Семнадцатый век. А до этого люди обходились без этой цензуры...

Рейтблат: В России – девятнадцатый.

Перцов: В России – начало девятнадцатого.

Котрелев: Устав цензурный и так далее. Поэтому цензура все, вплоть до политкорректности. Тем более что она на неформальном уровне... не институционализированном... Нет института – в смысле помещения, штата и так далее, – но есть система не просто запретов, которые каждый по морали волен исполнять, но и система наказания, неформализованного, но весьма, а то и предельно жесткого, за распространение тех или иных, скажем, текстов... Неписанные запреты имеют ввиду, очень часто, вещи самые фундаментальные, собственно, правила жизни, устои общества, что глубже чем политическая злоба дня.

Перцов: Коля, если какой-то журнал не публикует какое-то сочинение, отвергает его, то это не цензура. Можно сказать, что это цензура в другом смысле, в метафорическом.

Рейтблат: Это редактурная политика, понятно.

Перцов: Это не цензура, потому что другой журнал опубликует. Раньше все публикации проходили через особый институт, даже касающиеся химии.

Рейтблат: Ну у нас есть сейчас цензура, институционализированная. У нас есть – названия не помню – институция, которая может блокировать сайты. И блокирует их тысячами. Это не цензура?

Перцов: Нет, не цензура, потому что...

Рейтблат: Государственное учреждение!

Котрелев: Нормальная цензура.

Перцов: Вы можете взять и на свои деньги опубликовать это в другом издательстве.

Рейтблат: Нет!

Котрелев: На другом сайте тебя зарубят.

Рейтблат: Раньше вы могли за границей печатать, дело не в этом...

Перцов: И попадали в тюрьму за это!

Котрелев: И сейчас возможно наказание...

Перцов: Сейчас нету такого органа. Нету такого.

Рейтблат: Есть Министерство культуры, которое выдаёт прокатные удостоверения на фильмы. Оно на ряд фильмов не выдаёт и вы не можете этот фильм прокатывать. Что же это ещё, если не цензура?

Котрелев: Нормальная цензура.

Рейтблат: Другое дело, что у нас не все каналы цензурятся сейчас.

Зубарев: Абрам Ильич! В печатных СМИ есть цензура или нет?

Рейтблат: Печатные СМИ у нас сейчас не цензурятся.

Котрелев: В смысле Главлита.

Зубарев: Я об этом хотел сказать. Очень многие наши издания ...

Рейтблат: Юридически не цензурятся.

Зубарев: ... которые выходят совершенно спокойно без последствий для авторов, в Европе, а в особенности в США подверглись бы уголовному преследованию.

Рейтблат: Это другое. Цензура и законодательство... И у нас есть законы, по которым могут преследоваться те или иные публикации, но выйти в свет – они выходят без цензуры.

[неразборчиво]

Котрелев: Не говорите все вместе.

Зубарев: ... в США ему отказывают, а в Москве анархисты разгулялись дальше некуда. Я вам могу процитировать эпиграф к одному из анархистских журналов, который совершенно спокойно выходил, кажется остатки его тиража продаются в «Фаланстере», эпиграф – стихотворение из четырёх строк: «Вот мы придём, разграбим магазин...» Далее ненормативная лексика. И этот журнал был опубликован в Москве, продавался в узких кругах, и до сих пор остатки его есть в магазине, пожалуйста, приходите покупайте. Я думаю, в США бы за это посадили.

Зарецкая: Ничего бы там не сделали.

Зубарев: За публичный призыв...

Рейтблат: А это не призыв! Если бы было написано: «Грабьте магазин», – это призыв. А если человек говорит, что «Я приду разграблю магазин», – это он выдаёт свои планы, но он никого не призывает.

Зарецкая: Это у него настроение такое.

* * *

5. Выступление Елены Наумовны Зарецкой (и обсуждение)

Е.Н.Зарецкая: <Меня интересует умерший автор,> которого спросить ничего нельзя по поводу публикации того, что он не опубликовал. Мне вообще кажется, что это значит, что публиковать ничего не надо, вот хоть убейте меня. Если он не дал никаких специальных разрешений. Я опубликовала на своём веку много книг. Сколько осталось жить, никто не знает. У меня огромные коробки каких-то рукописей. В них черновики моих книг, какие-то там дневниковые записи, мысли между прочим, которые в какие-то минуты приходили мне в голову. Если я не нашла нужным это опубликовать, я считаю, что после моей смерти публиковать этого не надо. Я только хочу всех спросить: где я должна сделать официальное антизавещание.

Рейтблат: Этого нельзя сделать.

Сейчас, секунду. Почему я их до сих пор не уничтожила? Иногда хочется посмотреть на свой почерк. Иногда хочется посмотреть в какую минуту что волновало. Это очень личные вещи. Там, может быть, есть что-то, что меня компрометирует. Или что-то, что меня не компрометирует, потому что мне плевать на это на всё. Но если бы я захотела из этого что-то опубликовать, я бы сделала ещё сама, при жизни, пока я не в маразме, понимаете? Нет, если нельзя сделать официальное заявление о полном запрете, вечном запрете...

Реплика: Это надо у юристов спрашивать.

Рейтблат: Не надо спрашивать, я вам отвечу: заявление вы сделать можете. Тот, для кого ваш моральный запрет действует, он с вами посчитается. Тот, кто не склонен с ним считаться, он может публиковать, и никакой юрист здесь ничего не запретит. Через семьдесят пять лет...

Реплика: Абрам Ильич, здесь существенна открытость этого запрета. Если этот запрет [неразборчиво], на кого-то это может повлиять.

Рейтблат: Я и говорю: пожалуйста, можете публиковать.

Реплика: Елена Наумовна не хотела бы, чтобы после её кончины это было опубликовано...

Никогда!

Перцов: Она может об этом широковещательно заявить, и чем широковещательней будет это заявление, тем больше вероятность, что это не будет нарушено. Конечно, всё можно нарушить, понимаете, всё можно нарушить. Но с большой вероятностью...

Рейтблат: Вероятность – да. Гарантий... <быть не может>

Последнее, что надо успеть сделать – это немедленно сжечь все эти коробки. Последнее действие... Тем более что они не имеют никаких копий. [Далее неразборчиво].

* * *

6. Выступление Сергея Сергеевича Шаулова

(Башкирский государственный университет)

«Об этических и рецептивных проблемах публикации эго-документов из архива Р.Г. Назирова (1934–2004)»

Ромэн Гафанович Назиров хорошо известен среди исследователей Достоевского. В других сферах (а он ещё работал на материале Чехова, писал о русском и мировом фольклоре) он известен меньше, но и там его имя тоже периодически звучит. От него остался огромный (в буквальном смысле слова — более 600 архивных дел) архив. Некоторая часть архива — это эго-документы. В первую очередь, это дневники с 1950 по 1971 год. Во-вторых, это эпистолярный. Юридически права на архив принадлежат наследникам, сыновьям Ромэна Гафановича, Эдуарду и Станиславу. Они передали нам право публикации (разумеется, по согласованию — когда дело касается личных документов). Когда я говорю «нам», я имею в виду себя и моего коллегу и соратника по этому делу Бориса Валерьевича Орехова (НИУ ВШЭ).

Дневники Назирова представляют собой довольно интересный объект. Их много, это несколько десятков тетрадей, уписанных мелким, хотя и разборчивым почерком (в этом смысле Назиров чрезвычайно удобен для публикации). Эти дневники разнородны по «жанровому» составу.

Во-первых, есть, так сказать, «чистые» дневники, то есть тетради, куда он записывал события своей жизни, оценки, окружение и прочее.

Во-вторых, многие тетради представляют собой своеобразный дневник-хронику, куда он иногда буквально переписывал газетные статьи, слухи и т.д. за определённый день.

В-третьих, это ещё и рабочий дневник, где он фиксировал свои идеи, цитаты из научной литературы и так далее. Такой дневник у него часто переходит в читательский конспект.

Сразу скажу, что с этими дневниками моральных проблем обычно не возникает. Даже когда он пишет о каких-то своих юношеских любовных делах, он весьма целомудрен. То есть имён он не зашифровывает, но там нет ничего такого, что бросало бы тень на кого-либо. Он либо вовремя останавливается, либо находит некий удобочитаемый стиль.

Вообще его ранние юношеские тетради, написанные в 17-18 лет (начало 1950-х годов), иногда создают впечатление, что был некий сторонний читатель этих дневников. Возможно, это была его мать, которая до конца своей жизни (1971) была, судя опять же по дневникам, и первым читателем, и первым критиком всех других его работ.

Кроме того, у Назирова есть ещё две разновидности дневниковых записей. Это, во-первых, выделенные в отдельные тетрадки литературизированные подневные хроники важных периодов его жизни, находящиеся на грани между эго-документом и собственно литературным дневником.

В таких тетрадах он редактирует записи о событиях собственной жизни, очевидно, переписывая их с каких-то более ранних «черновых» записей, и создаёт относительно связное повествование в дневниковой форме.

И, наконец, есть еще весьма интересные «дневники по случаю» или «дневники одного события». Остановлюсь на одном примере. В архиве Ромэна Гафановича есть дневник юбилейной конференции по Достоевскому, прошедшей в 1971 году. Фактически это был первый в Советском Союзе официально проведенный юбилей писателя. Конференция проходила в Ленинграде, собрала весь тогдашний гуманитарный бомонд.

В дневнике много бытовых подробностей, которые не всегда находятся в плоскости приличного литературного быта. Например, некий литературовед (не буду называть имени) «зашёл ко мне после заседания вместе с коньяком, это была страшная ошибка», — пишет Назиров. Это ещё безобидные вещи. Более интересное: одна коллега, в ту пору ещё очень молодая исследовательница Достоевского, ныне живая и хорошо известная (по крайней мере, в среде достоевсковедов), сразу после конференции пишет ему письмо, где делает несколько научных комплиментов, перечисляет его «душевные недостатки», пишет о своем психологическом состоянии и т.п. Можно сказать, что это очень личное письмо «под маской» научного. Содержательно оно, впрочем, не выходит за рамки легкого флирта. В конце автор, однако, пишет: «письмо порвите». Назиров это письмо дословно переписывает в свой дневник конференции, видимо, считая это одним из ее итогов, указывает автора и дальше делает помету: «Письмо я порвал».

Тут видна некая ирония и по отношению к требованию отправителя письма, и по отношению к жанру дневника. Как поступать с этим письмом при публикации? Не совсем понятно. Видимо, этот дневник будет опубликован под названием «Фрагменты из...»

Казусы, требующие сложных согласований с еще живыми участниками событий, их наследниками и другими заинтересованными лицами, в таких, «профессиональных» дневниках возникают довольно часто. Конечно, согласования многократно утяжеляют публикацию, не всегда они осуществимы на практике, но как некий идеал, к которому нужно стремиться, они, разумеется, должны влиять на издание подобных текстов.

Тем не менее, дневники Назирова продуцируют меньше моральных проблем, нежели его эпистолярный фонд.

Небольшое отступление. Архив Назирова помимо объёма (он огромен настолько, что мы были вынуждены завести целую издательскую программу; электронный журнал под названием «Назировский архив» доступен в интернете) интересен тем, что структурирован самим автором. Видимо, Назиров несколько лет до смерти этот архив прореживал, компоновал и т.д. Мы были свидетелями малой части этого процесса летом 2003 года (в феврале 2004 он умер). Он готовился к операции, неудачные последствия которой и были причиной его смерти. И, видимо, чистил архив. На наших глазах он, например, перебирал письма и разорвал открытку от Г.М.Фридлендера (создатель и руководитель группы Достоевского в Пушкинском доме): прочитав её и оставшись, видимо, недовольным ее содержанием, он порвал её в мелкие клочки и бросил в мусорный пакет. Все это означает, что те эго-документы, которые мы сейчас имеем в архиве, оставлены автором вполне сознательно.

При этом переписка с Фридлендером — самая большая часть дошедшего до нас эпистолярного фонда: это около ста писем Фридлендера и сравнимое количество ответных (мы получили из Пушкинского дома цифровые копии этих ответных писем и, похоже, сумели восстановить большую часть этой долгой и интересной переписки).

В этой переписке есть весьма своеобразные документы, сохраненные Назировым. Это «черновики» писем (он их сам так называет), которые, однако, представляют собой не черновой текст, а своего рода «идеальную» (с точки зрения Назирова) альтернативу посланным реальным письмам. Он их писал так, как он, может быть, хотел это делать, если бы его ничего не сдерживало. Там встречаются пометки такого характера: «Черновик. Переписано в совершенно другом ключе, отправлено тогда-то». Черновики писем свободнее, он не стесняется в них философствовать и давать резкие оценки актуальной в тот момент науке, конкретным ученым и т.д.

Публикация этих писем задевает некоторое количество существующих научных репутаций и живых, и недавно умерших людей. В связи с этим возникает ряд проблем.

Честно говоря, на начальном этапе знакомства с этих эпистолярием я был склонен некоторые фамилии заменять инициалами. Хотя, с другой стороны, эти инициалы были бы

прозрачны, потому что речь идёт о конкретных людях, которые, допустим, писали вполне конкретные статьи, книги, участвовали в хорошо известных конференциях и т.д. Расшифровка этих инициалов не составляет труда.

Последнее решение, к которому мы пришли, состоит в том, чтобы опубликовать всё полностью, по возможности согласовывая с ныне живыми участниками событий, и в других случаях сопровождать публикацию сухими историко-биографическими комментариями. Наверное, вокруг текста этих комментариев потом будет некий спор, но посмотрим, как он будет решаться.

Тем не менее, мне кажется, что это до некоторой степени справедливое решение.

Но я хотел бы ещё обратить внимание на возникающие в связи с этим рецептивные проблемы. Выше было сказано, что публикация эго-документов может затрагивать ряд существующих научных репутаций. Но первая репутация, которая подвергается очень мощному воздействию — репутация самого Назирова. Речь, разумеется, не только об эго-документах, но вообще о публикации архивных материалов, в том числе и чисто научных. Публикуемые документы нарушают сложившийся биографический исторический образ автора. Региональное научное сообщество, в котором Назиров существовал, в силу определенных социо-культурных условий, весьма герметично и не склонно к резким изменениям. Положение Назирова в нем казалось несколько «изолированным» (по крайней мере, на взгляд его учеников последней генерации, к которой принадлежим и мы с Б.В.Ореховым). Открытие и публикация архива резко нарушили тот образ, который сложился в региональном научном сообществе. Вдруг оказалось, что рядовой профессор (во всяком случае есть люди, от которых нам приходилось слышать такое определение) сделал что-то такое, чего никто в этой местности ранее не сделал, а в письмах и дневниках он еще и оценки раздаёт всем коллегам... Реакция может быть пассивной (замалчивание; преобладающая пока форма регионального «ответа» на всю нашу активность), а в ряде случаев — агрессивно-отрицательной. Все это осложняет и делает значительно менее комфортными условия, в которых приходится готовить архивные тексты к публикации.

С другой стороны, есть и обратный рецептивный эффект, хорошо заметный уже не в провинции, а на столичных научных «площадках». Когда я приезжаю, скажем, в Москву и говорю не о своих научных темах, а о Назирове, может возникнуть впечатление, что существует его региональный культ, тогда как дело обстоит ровно наоборот. Может также возникнуть искушение «развенчать идола» и т.д. Публикация некоторых эго-документов вполне может стимулировать подобное отторжение и отрицательно сказаться на читательской и издательской судьбе других материалов из личного архива. Это проблема также имеет этическую природу, и решение ее, мягко говоря, не очевидно.

* * *

III. Приложение к круглому столу.

Из предварительных материалов к обсуждению (по электронной переписке)

Игорь Николаевич Сухих (СПбГУ), в эл. письме от 15.1.2018:

Про сексуальность в лагере у того же Шаламова разное. Где-то и такое: инстинкт пропадает через (какая-то точная цифра) дней. Мне кажется, дело в том, что с лагерем АГ повезло. В случае Шаламова на сексуальные приключения просто не хватало бы сил и калорий. А в Освенциме, как Вы сами говорите, публичный дом был только для немцев, которые не горбатились на общих работах. Так что это про другое. <...>

Про то, как печатать. Тут я на Вашей стороне. Полностью, во-первых, никто из издателей не согласится (хотя вот заканчивают же восемнадцатитомник /?/ Пришвина) - но он занял почти два десятка лет и сменил три или четыре издательства), с другой - кому это нужно? Я был разочарован при начальных публикациях, потому что ожидал нечто вроде дневника

Чуковского, где почти про каждого современника находится что-то любопытное, где эпохи, литературного быта больше, чем КЧ. Любовные приключения АГ, как, скажем, и Кузмина, интересны все-таки узкому кругу. Типологически, если судить по Вашему разбору, это нечто вроде дневников жены Зоценко (есть в сборниках Пушкина), где из нескольких тысяч страниц публикатор отбирает несколько десятков.

Синтетический жанр? Тут мне кажется, есть параллели: дневник Е. С. Булгаковой, который тоже переписывался/обрабатывался. Но что здесь особенно оригинального? Мы редактируем статью. Почему нельзя собственный дневник (как летописец - старую летопись)? Это еще не мемуары, но отредактированный дневник и есть. Нечто среднее, но вполне понятное по структуре и установке.

Писал для себя или не только? Тут я с Вами (если только правильно понял) как раз не согласен. Это не автокоммуникация (случай Кафки, который просил все сжечь), а расчет на какого-то - провиденциального - читателя. Почему/для кого тогда редактирует? И не раз говорит, что дневник имеет историческое значение. Кстати, насколько помню, наибольшее впечатление на меня произвели записи 1937/38 гг., где истории больше, чем всего остального.

* * *

Сергей Иосифович Гиндин (РГГУ), в эл. письме от 29.3.2018:

Мне очень понравились в [статье] эпиграф и итоговый вывод – что Гладковский дневник не надо публиковать полностью. Но эпиграф не стал основой исследования, а для итогового вывода, как мне кажется, не нужна большая часть конкретики, наполняющей статью.

Объясню мои ощущения. Эпиграф вопиет об изучении того, как изменилась структура дневниковых записей, когда из них стала уходить эротика. Какие темы заняли освободившееся место? Были ли это темы, прежде нехарактерные, или же просто изменилась частота обращения к ним? Изменилась ли подробность их рассмотрения? Вы были на пороге важнейшего Филологического, а, думаю, что и лингвистического исследования, а ушли в сторону донжуанских списков... Мне лично это очень грустно было видеть, хотя многие воспримут такую смену с восторгом.

О выводе. Он правильный, но никак не связан с особенностями именно Гладковских дневников. Дело здесь в природе дневников как жанра и типа источников. Даже при полном фактическом совпадении с мемуарами или романом они не переходят к литературе, т.е. в сферу публичной коммуникации (см. об этом различии у меня в Брюсовском томе ЛН, глава "Письма становятся литературой"), а остаются личными документами, наподобие писем, медицинской карты, рецептов или набросков для исповеди. Автор может, как Нагибин, транспонировать дневник с интимными подробностями в литературу. Но должен ли это делать публикатор в отсутствие авторского распоряжения? На мой взгляд, нет.

В моем курсе "Введение в общую филологию", который теперь выкинут из обязательной программы Ист-фила, была лекция "Этика филолога". В ней, среди прочего, я обосновывал, что доступ к личным документам умершего уподобляет филолога врачу и священнику, т.е. профессиям, в которых обязательно соблюдение определенной тайны.

Филолог тоже должен ее соблюдать. Одно дело учёт данных дневников в научных обобщениях, другое -- их прямая публикация для всеобщего досужего обозрения. "Не сплетничай!" -- для меня это общефилологическая максима. По крайней мере, по отношению к эпохам, с которыми наша сохраняет живую преемственность и связь.

Никому ничего не навязываю, но для меня это всегда было правилом при публикации. И, чтобы вернуться к Вашему герою, один пример. Ведь эротические подробности не только автора нам являют. У Гладкова, скажем, потомков нет. Но у Татьяны Быховец (кажется, так) могут быть живы внуки. Приятно ли им будет читать приводимую Вами сцену?

Ответ М.Ю. Михеева: Темы в дневнике Гладкова и после 1960 г. вроде бы остались без изменения, те же самые, просто расширившись за счет сужения тематики «интимных»

записей, но и сам дневник этого времени, в печатно-машинописной форме, расширился, по сравнению с рукописным.

По поводу того, что я "свернул" от первоначально поставленной задачи к более тривиальной теме, д-ж. списков, думаю, что особого филологического открытия сделать тут все же не удалось бы, поскольку надо было бы тогда 1) набирать статистику, у скольких еще авторов, ведших дневники на эротические темы, к преклонному возрасту эта тематика также уходила в сторону (а не, наоборот, к примеру, активизировалась бы), и 2) чем именно она в таком случае замещалась (т.е. у автора а - одним, у б другим, у в третьим и наибольший процент, скажем, оказывается у б, ну итд.) Однако такую статистику мне набрать было бы все-таки трудно, если вообще не невозможно, поскольку случай Гладкова для меня остается «штучным» и для проведения ни исследования 1), ни 2) я не готов.

Относительно того, что публикатор не вправе в отсутствие авторского распоряжения "транспонировать дневник с интимными подробностям в литературу". Да, это конечно существенно. Но что делать, когда вразумительного распоряжения нет? А именно так в случае архива Гладкова.

Но Ваша "общефилологическая максима" (или может, назвать ее заповедью для публикатора?), сформулированная как то, что "доступ к личным документам умершего уподобляет филолога врачу и священнику, т.е. профессиям, в которых обязательно соблюдение определенной тайны" - для меня очень важна.

Ну, а по поводу возможных переживаний от публикации потомков Татьяны Быховец, как мне казалось, я все-таки старался, чтобы даже приведенная мной в статье сцена не выглядела уж совсем эстетически непереносимой.

* * *

Анна Андреевна Зализняк (ИЯ РАН), в эл. письме от 30.3.2018:

С.И.Гиндин совершенно прав: "доступ к личным документам умершего уподобляет филолога врачу и священнику, т.е. профессиям, в которых обязательно соблюдение определенной тайны."

* * *

Николай Алексеевич Богомолов (МГУ), в эл. письме от 1.4.2018:

Не могу в данном случае согласиться с почитаемым мною С.И.[Гиндиным]. Тут ведь речь не о сплетнях, а о дневнике, т.е. автор не изобретает историю о ком-то другом, а претендует на фиксацию своей жизни. А раз фиксирует -- понимает, что со временем это кто-то может прочитать. Блок выдирает куски из своих дневников и уничтожал, Сологуб чистил свой архив (более всего, кажется, от материалов эротического характера), но Белый интимный материал хранил, запечатал в конверт и написал: "Обнародовать после смерти". И если бы Гладков писал для себя, он не делал бы машинописи, а оставлял свои записи куриной лапой. Значит, хотел, чтобы и другие прочли. А тогда мы не имеем права скрывать эротические подробности. Я безоговорочно считаю, что если автор (а особенно литератор) не хочет, чтобы о чем-то в его жизни знали, он не станет это записывать. А раз записал -- будь готов к тому, что рано или поздно это могут обнародовать.

* * *

Габриель Гаврилович Суперфин (Институт Восточной Европы Ун-та г. Бремена), в эл. письме 16.5.2018:

Смирюсь с договоренной срочной (20-30 лет с момента смерти автора документа и упоминаемых в нем лиц. Срок - достаточный, чтобы "живое" превратилось в "беллетристику")

архивной тайной, но не признаю участия государственных учреждений ею распоряжаться по своему волонтаристскому избирательному решению.

* * *

Павел Маркович Нерлер (Мандельштамовское об-во), в эл. письме от 17.5.2018:

...Я против самой постановки вопроса: фрагменты текстов, которые мы обсуждаем, это не клубничка, а фрагменты текстов, свидетельства о жизни человека - и не более того. Дневники предназначаются или для себя, или, если они не уничтожаются автором, то и для потенциальных читателей. Есть и другие тематические блоки с потенциально "стыдным" контентом, по котором точно такой же вопрос мог бы быть запросто поставлен, например, антисемитизм. Представим себе на минуточку, что дневники того же Блока застыли бы на уровне многотомника 1960-х гг. - сколько искажающего несла бы такая публикация! Место для деликатности (или неделикатности) - в комментарии, в интерпретации, сам же текст – это эмпирика.

И поддерживаю Г. Суперфина в тезисе: решение - то или иное, печатать или не печатать - принимает, формулируя эти принципы, только составитель, но ни в коем случае не хранитель, который в таком случае берет на себя чуждые функции цензора. Не предоставлять он вправе только на основании четко (однозначно!) выраженной авторской или наследнической воли (никому не выдавать там 15 лет и т.п.), там, где высказываний на этот счет нет или они расплывчаты, не заставлять искать наследников и интересоваться их высоким мнением, а решать в пользу "выдавать", коль скоро не сказано иное. И уж совсем ни при чем возможные переживания родственников или знакомых упоминаемых или подразумеваемых лиц: давайте тогда требовать с публикаторов приносить письменные разрешения на упоминание всех и каждого. Заверенные в Росамурнадзоре.

* * *

Николай Всеволодович Котрелёв – в эл. письмах 17-19.5.2018:

1. Необходимо понять, идет ли речь о публикации – или о дивульгации. И то, и другое означает предание гласности, но во втором термине, в моем противопоставлении первому, настойчиво звучит: «изложить в легко доступной форме научное открытие, некую доктрину, результаты исследования и т.п.» (старый словарь Palazzi). Среди неопубликованных автором текстов дневник и любой документ, лежащий в архиве так, что всякий посетитель имеет к нему доступ, - опубликован. Предать его тиснению – значит сделать легкодоступным, популяризировать, пустить по рукам, а человека, этот документ породившего, - сделать беззащитным. Если существуют формальные ограничения на доступ (срок давности, оговариваемый законом или фондообразователем, продавцом и т.п.), этические вопросы перекладываются на архивиста (который действует, опять-таки, только в рамках закона, в частном архиве возможно сохранение закрытости, введение условий доступа и т.п., в государственном единственным регулятором должен выступать закон, если оный не оговаривает изменений судьбы, документ должен автоматом быть «открыт»).

2. Давно необходим фундаментальный обзорный труд по истории этики публичности и публикаторства (и сокрытия личных документов – вплоть до уничтожения, как это делал, например, Блок незадолго до смерти). Бодуэн де Куртенэ в тетрадь под сафьяновым переплетом записывал русские фольклорные обценные тексты латинскими буквами. В подобном труде нужно учесть и различие между рукописной, печатной и устной формой бытования «непечатного».

3. Перевод из рукописного состояния в печатное или сетевое уподобляет «Пушкина» и Гладкова «откровенной сессии Волочковой» или «откровенному рассказу» имя рек о его

любвях. Катастрофа нашего витка цивилизации в постромантической абсолютизации личной свободы при культе личности. В этой культурной среде «донжуанский список» неизбежно вызывает пристальный (зачастую – скрытно-обостренный) интерес. Его обнародование питает самые разнообразные подходы к культурному тексту, от психоаналитического до гендерного, от языковедческого до социологического и т.д. и т.п. Но в любом случае границ между торговлей «эгодокументами» в глянце ли, на Гугле или Яндексe – и каким-либо архивом сексопатологии или "академически" полным собранием сочинений нет. Публикатор это должен сознавать.

4. И действовать, если ему не чужда моральная ауторефлексия, сообразно принятому для себя закону. Можно отказаться от публикаций документов, подобных переписке Флоренского с Розановым; однако при этом нужно твердо знать, что рано или поздно, а при нынешнем перенаселении лесов охотниками – очень даже вскоре лежащий перед тобой документ попадет на глаза другому, и мало вероятности, что он окажется более стеснительным публикатором. Если тебе публикация важна, как шаг в твоём дискурсе на данную тему, печатай, выкладывай, но сумей толком показать, какое место в твоём повествовании занимает этот фрагмент.

5. Публикатор - не важно, первопубликатор или переиздающий текст в n-й раз - не может не отдавать себе отчета в том, что он вмешивается в жизнь образа героя публикации (или его времен и т.п.), становится одним из соавторов этого образа. И должен, если он умен или просто совестлив, рассчитывать модусы прочтения этого образа и усвоения его "читателем", "зрителем", "слушателем" - потребителем. Одно дело - девица, воспроизводящая кульбиты гениальной Цветаевой, другое - историк, суммирующий число случаев смерти от сифилиса и так или иначе интерпретирующий частотность этой заразы в тот или иной отрезок времени.

6. Впрочем, нельзя забыть, что мы живем в мире либеральной цензуры, политкорректности.

* * *

Наталья Родионовна Малиновская (МГУ) в эл. письме от 20.5.2018:

... Несомненно, вопрос о тех, кого автору было угодно упомянуть, не испрашивая их согласия на такую посмертную известность, встает во весь рост. И ответ у меня однозначный: они не должны быть названы вне зависимости от того, живы, умерли, оставили наследников или нет, и сколько лет прошло по их кончине. Могила – не место для плясок даже спустя века. Священное и естественное право человека хранить свои и чужие тайны ненаруσιμο. И не резон при этом исходить из того, что автор в дневнике, адресованном *urbi et orbi*, позволил себе нарушить тайну - тайну двоих, а не только свою собственную. Это не аргумент. Вспомним: «Я поэт, этим и интересен». Это - запрет. Вспомним жизненную позицию Слуцкого. И вспомним, как обошлась филологическая беллетристика с Маяковским. И что Любове Дмитриевне, зная волю Блока, всего-то и надо было сдерживать свои литературные порывы...

По-русски мы говорим просто «дневник». По-испански - *Diario íntimo*. Вот она – точка над *i*, в русском языке подразумеваемая. Поэтому дневник литературный – своего рода нонсенс по определению. Это уже не дневник, а изначальная стилизация под дневник, именование жанра, точнее его разновидностей: Это или

1. фейковый дневник, написанный много позже, по сути, мемуары со всей неизбежно возникающей спустя годы путаницей дат, фактов и переменой восприятия и оценок, или
2. дневниковые записи с реальной датировкой – свидетельство о времени и о себе тогдашнем. Эти параметры тоже бросают свои тени (тени свих времен) на обсуждаемую проблему. Разбираться в этих тенях, конечно же, интересно, но можно увлечься и сбиться с филологического пути. Здесь уже публикатор должен себя контролировать.

* * *

Сергей Сергеевич Шаулов (Башкирский гос. университет), в эл. письме от 27. 5.2018: заявка на выступление с сообщением на тему "Об этических и рецептивных проблемах публикации эго-документов из архива Р.Г.Назирова".

Речь идет об архиве, известного достоевсковеда Р.Г.Назирова (1934-2004). Некоторая часть из его дневников опубликована нами (совместно с Борисом Ореховым) в специальном журнале "Назирровский архив": <http://nevmenandr.net/nazirov/journal20162.php> ; <http://nevmenandr.net/nazirov/journal20163.php>. <...> Сейчас я готовлю к печати его обширную переписку с Г.М.Фридлендером, редактором известного 30-томного собрания Достоевского. В связи с этой перепиской возникает довольно много проблем именно этического характера (как ни странно, больше, чем при публикации дневников).

* * *

Коллега, пожелавший остаться неназванным (в эл. письмах от 20 и 27.5.2018)

...Ситуация в архивной и эдиционной области, особенно в нашей благословенной части света, совершенно дикая. Пока что она регулируется только переменчивыми, как и всё наше законодательство, музейными и архивными установлениями и директивами, а также законами о печати и авторским правом. Права же, а главное – обязанности самих архивов, кажется, никак не прописаны и не отрегулированы. Ну, это, вроде бы, общеизвестно.

А когда авторские права кончаются? Кто тогда защищает интересы автора? Какой-нибудь архив-литмузей-издательство, зарабатывающие на произведениях автора, заботятся, например, о его могиле? Есть и «серые зоны» - например, переписка. Авторское право на письма принадлежит автору и наследникам, им положены гонорары либо их доли. Но есть еще и право собственности, а оно принадлежит владельцу писем.

А как быть с письмами, относительно которых известно, что автор распорядился их уничтожить, а владелец, вопреки воле автора, - сохранил?

<...>

Не знаю, слышали ли Вы, что, наряду с прежним «фискальным» отношением к наследованию архивных и прочих сокровищ («всё не востребованное вовремя отходит государству, а оно само искать наследников совсем не обязано») всё-таки, хотя бы номинально, восстановлена «должность» душеприказчика. Но всё равно, на длительных отрезках времени, как в случае с Вашим героем, «хозяином» архива становится госучреждение, а «распорядителем» – исследователь, публикатор.

И тень автора не будет являться ему ночами, упрекая: «Что же ты печатаешь меня совсем не так, как было задумано?...»

Если «жанр» предполагаемых «Записок Гладкова» можно определить как «Роман в дневниках» (по аналогии с «Романом в письмах»), то направление, новое литературное направление, которое он, возможно, пытался (а, может быть, и сумел – будущее покажет) открыть этим своеобразным произведением, можно определить как «неоперсонализм», учитывая, с одной стороны, исключительную сфокусированность автора на своей персоне, с другой – наступавшую в то время эру “персонализма”, т.е. повышенного интереса к “личности”, а с третьей – название доминировавшего в тот период нового направления в кинематографии – итальянского неореализма, независимо от того, проявлял ли Гладков в своих дневниках интерес к фильмам данного направления.

<...>

А если подвести под его записки литературно-жанровую базу, то, во-первых, отпадает проблема «контроля достоверности»: сочинитель - он на то и сочинитель;

во-вторых, можно всюду, где заметка кажется обидной или, хуже того, оскорбительной для персонажа, проставить любые инициалы, либо вымышленные имена и фамилии, либо астериски (***) в желаемом количестве;

в-третьих, после <...> издававшихся у нас «Тропиков», «Лолиты» и еще <...> «Любовника леди Чатерлей», никакая эротика, если она – «литература» - не может вызвать цензурных возражений (просто если там есть совсем грубая обценная лексика, можно использовать традиционные стыдливые отточия).

А дальше – пусть голосуют читатели (спросом), критики (дискуссиями), и чем больше, тем лучше.

<...>

...Планируемому Вами семинару по архивной тематике можно придать более конструктивное направление, например: «Права, возможности, потребности и задачи пользователей архивов» или что-то в этом роде. Если бы Вы захотели и Вам бы удалось сделать семинар подобной тематики сколько-нибудь регулярным и постоянным (даже без какой-то обязательной частоты и периодичности), отдавать этой теме одну из «секций» на Ваших конференциях по маргиналиям, то со временем из него могла бы получиться организация по общественному контролю пользователей архивов (историков, филологов, но не только) за соблюдением их прав в архивохранилищах, за состоянием дел в архивных организациях, за содействием самим этим организациям – они ведь всегда в чем-то нуждается, им не хватает средств, сотрудников, помещений...

* * *

IV. Из материалов к обсуждению, полученных после круглого стола (по электронной почте)

Ирина Леонардовна Савкина: К итогам круглого стола
(24.6.2018, ун-т г. Тампере, Финляндия)

Во время обсуждения конкретных вопросов, связанных с проблемами, возникшими у публикатора дневников А.К. Гладкова, возник ряд проблем более общего характера, каждая из которых достойна отдельного подробного обсуждения, например, Что такое публикация? Как мы определяем сферу публичного и непубличного, и как эти понятия меняются в зависимости от историко-культурного контекста?

Как меняется представление о публичности сейчас, когда многие источники, бывшие раньше доступными избранным, готовым делать ряд существенных усилий (разыскания в архивах, чтение архивных рукописей и т.п.) стали доступны многим, не обладающим этими интенциями и профессиональными навыками (см., например, беспримерную работу М.А. Мельниченко и команды сайта «Прожито»).

Как меняет новая ситуация представления о научной этике?

Ведь в результате между текстом, в частности, текстом дневника и любопытствующим читателем перестает существовать «буферная зона» в виде трудов публикатора с его выбором, этическим и пр. фильтром, научным комментарием и т.п.

Эта проблема, которая только начинает актуализироваться, требует своего осмысления.

Второй вопрос о том, существуют ли общие, универсальные, всеми признаваемые (что не исключает возможности их нарушения) правила научной этики? Если да, то насколько они артикулированы и опознаваемы научным сообществом в настоящее время?

И наконец, о конкретных вопросах, сформулированных М.Ю. Михеевым.

На мой взгляд, при научной публикации дневников, крайне опасно исходить из моральных представлений или морального «произвола» публикатора. Я в свое время

много работала с женскими дневниками, и было совершенно очевидно, что публикаторы (мужчины и не только) при публикации этих дневников выбрасывали и прореживали все то, что казалось им «непристойным» с точки зрения их собственных представлений о канонах «настоящей» женственности. В результате опубликованные тексты создавали в большой степени фальсифицированный образ женственности: они были каналами информации не о том, как думали, чувствовали и писали реальные женщины в своих дневниках, а о том, как они должны были думать, чувствовать и говорить с точки зрения публикатора, человека другого времени, часто другой социальной страты и другого пола. Это, конечно, тоже любопытный материал для изучения, но, как мне представляется, не тот, который исследователь или пытливый читатель ждет от чтения дневника. На мой взгляд, дневники, которые издаются как научное издание, должны содержать все, без изъятия. То, что касается чести и достоинства ныне живущих людей, должно не изыматься, а «шифроваться» (имена заменяться инициалами и т. п.).

Если мы будем изымать из дневника Гладкова все, что связано с его сексуальными практиками, то что мы получим – положительный образ советского литератора? подтверждение тотального целомудрия советских людей? Какой в этом смысл? Если автор долго и подробно писал об этом в своем дневнике, значит, это было для него жизненно важно. Почему публикатор должен решить, что важно было что-то совсем другое? Тогда уж лучше совсем ничего не публиковать.

Конечно, актуализируется вопрос, который возникал при обсуждении проблемы на круглом столе: должны ли публикации дневников и т.п. поддерживать имидж или образ известного лица, который существует в глазах публики, и могут ли такие публикации подрывать или разрушать существующий канон? Об этом, например, очень пеклась Анна Ахматова, опасаясь, что мемуаристы могут подорвать образ Мандельштама-поэта-небожителя и т.п. Это сложный вопрос, но, на мой взгляд, известные лица здесь не имеют никакой презумпции невиновности. Если прошло достаточно много лет, и документ открыт для публичного пользования, его можно и нужно публиковать. Ученый извлечет из него одно, любопытствующий дурак (если таковой найдется) – другое. Но разве и без публикации дневников и писем, существует гарантированная «защита от дурака»?

Конкретные мои ответы на вопросы для круглого стола таковы:

1. допустимо ли публиковать такие интимные материалы, как например, донжуанские списки из записных книжек Гладкова, в открытой печати?

ДА

2. надо ли расценивать подобные записи в дневнике (и подобные материалы у других лиц) как особого рода патологию, извращение, или род литературного эксгибиционизма?

НЕТ

3. в том случае, если сам владелец архива не успел (или не потрудился) над приведением дневника в *удобочитаемый* вид, следует ли это за него делать потомкам?

НЕТ, исключая чисто технические вещи

4. как различить (да и стоит ли вообще) записные книжки и дневник? или же дневник *интимный* и дневник *литературный*;

НИКАК, такого точного разделения нет, есть масса промежуточных форм.

5. можно ли предложить какие-то дифференцированные правила при издании разных типов эго-текстовых документов? Или правила для самих изданий разного типа – т.е. научных, популярных, снабженных соответственно разного вида

комментарием, в зависимости от давности текста, степени «откровенности» описания темы?

Конечно, есть, но, если мы говорим о научной публикации, то она должна быть максимально полной. Если пропуски есть, они должны быть обозначены и откомментированы.

6. через какой срок мы имеем право публиковать интимного рода материалы, затрагивающие живущих людей или же их потомков? - через 50, 60 или через 100 лет после смерти автора? (на 2018 год со смерти Гладкова уже прошло 52 года; все упоминающиеся в его "донжуанских списках" персонажи тоже покойны).

В зависимости от воли автора или наследника. Во всех остальных случаях так, как это регулируется) законом.

* * *

Материалы подготовлены – М.И. Воронцовой (видеосъемка), Н.Ю.Пахмутовой (расшифровка), самими участниками дискуссии (редакция своих текстов) и М.Ю.Михеевым (коррекция и компоновка текста в целом)